THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский
1978-1981 редактор Роман Гуль
1981-1983 редакция: Роман Гуль (гл. редактор) Е. Магеровский
1984-1986 редакция: Роман Гуль (гл. редактор), Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 редакционная коллегия

сорок седьмой год издания

Кн. 170 НЬЮ-ЙОРК 1988

Редакционная коллегия:
Ю. Д. Кашкаров
В. П. Крейд
М. И. Раев
В. М. Сечкарев
И. В. Чиннов
З. О. Юрьева
Секретарь редакции:
А. Н. Тюрин

Обложка работы Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW
MARCH 1988

©THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 611 Broadway, #842, New York, N.Y. 10012.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Яновский — По ту сторону времени. *Роман* 5
Ю. Балтрушайтис — Стихи 47
Ильязд — Посмертные труды 49
Е. Замятин — Из литературного наследия.
Публикация А. Тюрина 77
В. Перелешин — Стихи 87
Е. Федорова — "Обойден и замкнут круг" 91
М. Крепс — Зимний речитатив 113
М. Фельдман — Стихи 116
И. Поярков — Стихи 118
К. Ушаков — Серп и молот 120
Ю. Тролль — Пасьянс "Будуар" 148
Вл. Купченко — "Лучший друг слова" 154
А. Штромас — В мире образов и идей Александра Галича 168

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Н.В. Поленова — Е.Д. Поленова и М.В. Якунчикова.
In memoriam 201
В.Н. Челищев — Из воспоминаний 229
Письма *М. Шагинян к З. Гиппиус.* Публикация *А. Тюрина* 248

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Р. Киршенштейн — Милитаризация промышленности
в СССР 281

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

В. Крейд — Неизвестные строки О. Мандельштама; *А. Иванов*
— К истории могилы Л.Ф. Достоевской 292

БИБЛИОГРАФИЯ

Э. Мелтон — Русский крестьянин глазами Запада — новые работы американских ученых; *Е. Филипс-Юзвигг* — Отклики. Сборник статей памяти Н.И. Ульянова; *Т. Фесенко* — Ю. Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека; *М. Раев* — Modern Greek Studies Yearbook. 1985-1987; *М. Раев* — R.H. Johnston. "New Mecca, New Babylon" — Paris and the Russian Exiles. 1920-1945 298

Printed in the U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Avenue
Clifton, New Jersey 07011

ИЛЬЯЗД

ПОСМЕРТНЫЕ ТРУДЫ

Захарий Стрекотов проживал на Монпарнасе, на улице Жозефа Барра, не потому, что этот квартал в какой-нибудь мере подходил ему. Вечная сутолка и дороговизна раздражали его, но Стрекотов был жертвой стремительной перемены, происшедшей с Монпарнасом за семь лет его пребывания там, и уже не мог расстаться с избранным им районом, как бы этот район решительно не изменился.

Семь лет назад, приехав из Константинополя, куда его загнало отступление белых армий из Крыма, Стрекотов, без крова и денег еле добравшийся до Марселя палубным пассажиром, а потом до Парижа зайцем, естественно должен был попасть на Монпарнас, в крошечную "Ротонду" и захудалый "Парнас". Он нашел там немалое число таких же, как и он, голодных соотечественников, которым, так же как и ему, какие-то невидимые узы не позволяли сблизиться с начинавшей уже чувствоваться в Париже белой эмиграцией.

Большинство завсегдатаев кофейни "Парнас" были живописцами, хотя было там и несколько поэтов, которым никакая надежда на лучшее будущее не была позволена и для коих кофе с молоком и рожок в придачу были обыкновенным дневным питанием. Если же откуда-нибудь выискивалось полфранка, то в

См. "Новый Журнал" N 168-169.

ресторанчике напротив можно было получить и блюдо картошки.

Стрекотов однако не подвергся общей участи обитателей артистического этого квартала и не сделался художником. А так как все-таки чем-то надо было сделаться, то он избрал профессию, некоторое отношение к художествам имеющую, сделавшись ретушером. Некоторые способности к рисованию у него имелись (а у кого их нет?) и были совершенно достаточными, чтобы не терять однажды полученной работы у одного захудалого фотографа с Веселой улицы. Так Стрекотов сделал первый шаг к упрочению своего экономического и социального положения.

Работал он, вероятно, немного, так как с утра до вечера его можно было видеть на скамейке в углу перед одним и тем же кофе, без перерыва и с жаром невообразимым говорящим на всякие художественные темы, обсуждающим всяческие вопросы с самым авторитетным и убежденным видом. [...]*

Стрекотов прежде, чем кто-либо другой на Монпарнасе понял, что все чудачества и безумства молодежи представляют или будут представлять коммерческую ценность. Пока его друзья и собеседники коротали голодные вечера в кофейне, мечтая о лучших днях и далеких эльдорадо, Стрекотов уже знал, и с достоверностью, что Эльдорадо вовсе не за морями, а тут, под рукой, на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай. Он не застал в живых Модильяни. Но когда появился спрос на рисунки и полотна покойного, Стрекотов первый пустил на рынок произведения итальянца. Скульптура негров была еще далеко не в почете, и на блошином рынке можно было ее найти за бесценок; когда интерес к ней вышел за пределы узкого круга ценителей, то у ценителей ничего не было, а у Стрекотова — обширная и замечательная подбором коллекция.

Эволюция Монпарнаса, происшедшая между 1912 и 1924 годами и обусловленная опошлением так называемого нового искусства, которое, начав с бунта против пошлости, кончило свою

---

*Пропуск в тексте.

жизнь на стенах буржуазных интерьеров, в силу чего новое искусство и коммерциализировалось, — в эволюции этой Стрекотов обрел свой реванш. Пока художники еще не могли освоиться с ростом цен на их творчество, Стрекотов был уже богатым человеком. Однажды он сменил заношенный свой пиджак на костюм от лучшего портного, а наутро подкатил к кафе в великолепной машине. Излишне говорить, что его сотоварищей по голоду больше там не было. Они или тоже разбогатели и перебрались воспитываться в буржуазных гостиных, или вовсе исчезли.

Теперь Монпарнас представлял одну сплошную кофейню с танцульками, барами, бильярдными, кабаками и дорогими отелями, где тщетно стал бы новый посетитель искать след тех, кто создал этот квартал. Правда, каждое заведение еще как-будто сохранило кое-какую свою публику, но главный процент посетителей составляли иностранные туристы, преимущественно американцы, и окружение, которое им неизменно сопутствует — проститутки, профессиональные педерасты, торговцы кокаином и белым товаром, сводники и шарлатаны всевозможных родов.

Некоторая живописность костюмов посетителей этого торжища осталась, но это была живописность пляжа или какого-нибудь курорта — яркие шерстяные фуфайки, пестрые чулки, отсутствие шляп. Плохо одетых, не говоря об оборванных, больше не было. Если бы Стрекотов явился теперь в том наряде, в каком он просиживал в кофейне целые дни всего года четыре назад, то его бы не пустили, как не пустили бы ни женщин, вымазанных охрой, пьяных и в балахонах, ни юношей в пиджаках на голом теле. Не было больше ни молчаливых фигур на углах улиц, часами простаивающих в ожидании "друга", у которого можно было бы стрельнуть франк, ни мечтателей, просиживающих часами за чашкой кофе в ожидании, кто бы за них заплатил.

Вышколенные грумы, газетчики, продавцы сладостей и фруктов, полицейские, управляющие движением, и тротуары, запруженные столиками до отказу. Звуки оркестров, сливающиеся с гудением рожков, запах английского табака, светящиеся вывески баров, толчея, не прекращающаяся до самого утра. Это был город, выросший с быстротой городов, возникающих там, где находят нефть, золото или брильянты, разнузданный, богатый, призывающий к себе искателей приключений и наживы,

большей честью опаздывающих, со всех концов земли, город, выросший дурным чертополохом на могиле современной живописи.

В этом городе Захарий Стрекотов чувствовал себя дома и на высоте положения. То, что его состояние выросло у всех на глазах, и хозяин угловой кофейни, бывший в ней прежде лакеем, не раз получал от Стрекотова два су за прокат столика — только увеличивало его вес. Мало того, что у Стрекотова было несколько машин, одна лучше другой; все знали, что русский уже успел выстроить в Булонском лесу модернистский особняк, последнее слово строительной техники, и когда после Международной Выставки Современных Искусств современная архитектура стала входить в моду, особняк этот продал и купил новый на острове Св. Людовика, старинный, который успел тоже продать за баснословные деньги американке Еве Додж, бесспорно, самой богатой посетительнице Монпарнаса, чьи средства были к услугам русского для его продаж и покупок, так как он заведовал коллекциями мисс Додж. Могуществу русского, казалось, не было пределов. За его покупками следили с душевным трепетом и он уже несколько раз действительно сумел доказать, что может иметь влияние на покупную цену того или другого мастера.

Но финансовое могущество русского было следствием только его проницательности, его умения быть à la page раньше других, и эта способность, нисколько у него не уменьшавшаяся, едва не в большей мере, чем деньги, способствовала упрочению его положения. Его карьера импонировала на Монпарнасе, где теперь каждый жаждал обогатиться, и поскольку занятие торговца картинами, проще, спекуляция на живописи, оказавшаяся такой выгодной, перестав быть принадлежностью профессиональных торговцев, проникла во все круги — художественные и артистические, — Стрекотов был персона грата и у сюрреалистов и у артистических парвеню, населяющих особняки, виллы и авеню Жюно. Та же способность угадывать, откуда дует ветер, делала Захария Стрекотова желанным на генеральных репетициях, на вернисажах, в редакциях ежемесячников и в салонах.

Некоторая неуклюжесть, недостаток воспитания и плохо сохранившиеся зубы — все это прощалось Стрекотову. Стоило опуститься занавесу и его окружали, к его словам прислушива-

лись, хотя ни для кого не было тайной, что русский — только паразит, что он только промывает и сортирует чужие модели и вкусы.

Естественно поэтому, что одна из наиболее влиятельных групп снобов, дающая тон новому Парижу, устанавливающая погоду, моду и успех, группа, в которую входила портниха Летиция, видела в русском драгоценнейшего помощника и делала все необходимое, чтобы удержать в своей среде и культивировать очаровательный этот талант.

Разбогатев сам, Захарий Стрекотов волочил за собой и все более и более обогащавшуюся артистическую братию, в среде которой он насаждал вкусы и увлечения совершенно особого порядка...

В этом стремлении все к большей и большей роскоши Стрекотов играл роль главного вдохновителя, он получал проценты и с ресторатора, и с портных, и с отелей за посылаемую им клиентуру. Не в этих, конечно, процентах было дело. Стремление вчерашних оборванцев к роскоши благоприятствовало его общим видам, мешая классы и положения и увеличивая поле его деятельности. Действительно, если либерализм давным-давно нарушил перегородки, то нигде смешение не достигло такой степени, как на Монпарнасе. Миллионеры и люди традиций и воспитания более чем довольствовались обществом голытьбы и невежд, и самые неожиданные превращения были более чем возможны. На великосветских балах, даваемых лицами, к миру артистическому причастными, можно было видеть самый фантастический социальный винегрет. В этом смешении предлагавшие свою руку, сердце, тело или живопись легко находили спрос; устанавливались связи более прочные, чем мимолетное знакомство, и все это совершенно своеобразное космополитическое общество, вылившееся далеко за пределы Монпарнаса, жило своей особой жизнью, резко отделенное своим снобизмом от прочих обитателей города. Это был один и тот же чрезвычайно многочисленный табор, кочевавший с одной выставки на другую, с премьеры на премьеру, с продажи на продажу, делившийся внутри на семейства и подсемейства, но живший одними интересами, скандалами, стремлениями, довольный самим собой и почитавший себя солью земли.

Для низов, поднявшихся на верхи социального благополучия, Стрекотов был драгоценным и незаменимым пастухом. Если бы в этой артистической среде сохранилась хоть какая-нибудь крупица искусства в смысле идей, которыми была одержима историческая богема, Захарию было бы отведено его место, и только. Но так как у всех этих вчерашних борцов за независимое искусство не было больше никаких, решительно никаких интересов, кроме коммерческих, разве что приправленных законной для выскочек долей тщеславия, то Захарий не знал никаких пределов своему авторитету и мог вовсе не опасаться ни падения, ни разорения, ни соперничества. Он был неразрывно связан с историей этого общества, воплощая его исторический смысл и мог исчезнуть только с исчезновением этого общества. Поколения безумцев и искателей трудились над созданием незыблемого его благополучия.

Признание Советских Республик Францией открыло дорогу и политическим устремлениям русского. Могло ли новое посольство, искавшее во враждебной среде опоры на нужных людей, не обратиться за содействием к Захарию Стрекотову? Отсутствие политического прошлого делало Захария человеком не одиозным, а пребывание вне русской профессиональной эмиграции — даже приемлемым. Стрекотов руководит устройством советского отдела на Международной выставке 25 года, организовывает обмен культурными знаниями между Советами и Францией, посылает картины в Москву и наоборот, устраивает выставки, общество франко-советской дружбы и тысячи других дел, не забывая, конечно, и собственных интересов. Москва прибавляется к числу его рынков. Он даже едет на несколько недель в Москву, снабженный всяческими письмами и бумагами и заручившись содействием высокопоставленных лиц.

Некоторые злые языки утверждали, что поездка в Москву повлияла если не на политические убеждения (всякий русский в глубине души — большевик), то во всяком случае на политическую сдержанность Стрекотова. Пустое злословие. Захарий остался так же вдалеке от политики, как и прежде. Это было только очередное знание, откуда дует ветер: коммунизм, вслед за декоративной выставкой, стал входить в моду в салонах. Не коммунизм, разумеется, настоящий, французский или русский, а со-

вершенно своеобразный, салонный, заслуживающий названия комснобизма. Захарий был первым комснобом, за ним их высыпало великое множество. Замечательно не то, что комснобы продолжали жить в дорогих отелях, носить чудовищные воротнички и подражать франтам тридцатых годов, удивительно, что им удалось проникнуть в партию (о чем они громогласно заявляли на всех перекрестках) и устроиться там в ожидании чистки. Комснобизм для Стрекотова был тем же, что и прочие увлечения — он увеличивал рынок. Для других комснобизм был увлечением или модой, довольно капризной, на колебания которой борьба с оппозицией в Москве оказала свое влияние. Но Захарий не заходил так далеко с политическими своими разглагольствованиями. Для него политика, именно, — неопределенное советофильство, — была только приправой, чтобы не позволить себе оплыть жиром, потерять всяческую остроту, стать коммерсантом без всяких дерзаний и размаха.

Так в свое время было и с половыми склонностями. Захарий появлялся в обществе тапеток, посещал масленичные балы в Мажик-Сити, где ежегодно четыре тысячи мужелюбов предавались радостям, искали спроса и предложения, словом, пользовался репутацией убежденного мужелюба. Но педерастия стала выходить из моды, и в один прекрасный день оказалось, что Стрекотов педерастом никогда не был, что все это так себе, что, напротив, он — дон Жуан, и так далее. Единственно, что Захарий не мог себе позволить (почему, впрочем, — неизвестно), это объявить себя добрым католиком. Но в этом он не так уж нуждался.

Филипп подружился с Захарием в первые годы его появления на Монпарнасе, и последующие перемены в судьбе Захария отнюдь не прервали их знакомства. Напротив, то, что Филипп был единственным в окружении Стрекотова человеком, не заразившимся погоней за роскошью, а напротив, плошал и опускался из года в год, — это заставляло Захария относиться к нему все с большим вниманием. И так как никогда Филипп не обращался к Захарию за денежной поддержкой, а только искал дружбы, Захарий смотрел на Филиппа как на редкую птицу, которую ему необходимо было иметь при себе. Поэтому несмотря

на весь неподходящий внешний вид Филиппа дом Стрекотова был всегда открыт для него и его там всегда ждал самый внимательный и редкий прием.

Эта очередная роскошь, которую Стрекотов себе позволял, располагала Филиппа в его пользу, хотя, ища общества Захария, Филипп его, в сущности, не любил. Он ценил его знание вещей и способность никогда не ошибаться, но эта-то трезвость и рассудительность в Захарии не были ему симпатичны. Он колебался между преклонением перед силой Захария и оценкой этой силы как злой, и каждую минуту готов был негодовать на Захария, поносить и проклинать его, обвиняя во всяческих грехах; ненавидел его и минуту спустя шел к нему с повинной, усмиренный и прирученный.

Подчас его нападки на Захария были особенно неистовыми, но это были односторонние нападки, а не столкновения, так как Захарий, слушая своего обличителя, никогда не выходил из равновесия. На упрек в том, что он развратил молодежь и проституировал живопись, Захарий разумно возражал, что он только использовал отказ молодежи от всех идеалов и стремление ее к обогащению, доказывая Филиппу, что напрасно он приписывает ему, Стрекотову, такую выдающуюся роль. В этих возражениях не было и тени той страсти, которую Филипп вкладывал в их отношения. Филипп словно жаждал подлинной вражды и окончательного разрыва, но Захарий не поддавался на удочку. Однако, будучи более сильным, Захарий незаметно для Филиппа влиял на своего друга, сам того не желая.

Понимал ли сам Филипп, что его бескорыстно тянуло к Захарию? Зачем поддерживал он эту дружбу? Зачем переступал порог, где хотя прислуга и была в высшей степени с ним почтительна, чувствовался его, Филиппа, неправдоподобный архаизм? Зачем он удостаивал своим присутствием эту обитель разврата, где все говорили только о коммерции, об одной коммерции, и хозяин которой доказывал, что лучший товар — выношенная в глуши идея? Какой внутренний порок, начало гниения, неподозреваемая порча удерживали Филиппа в этом ненавидимом им кругу, заставляли прислушиваться к биржевым сделкам, быть в курсе самых пустых и постыдных спекуляций, знать, что он — в самой гуще болота и не покидать этой тины и ила? Почему на

его негодование не обращали внимания, подобно тому, как не удостаивают им ругающегося пьяницу?

Не раз он говорил себе: бежать, бежать прочь с этого кладбища идей, где Захарий обкрадывает могилы. Бежать на чистый воздух, довольствоваться безоблачным небом, жить где-нибудь в лесу или на берегу моря, слушать птиц и, лежа на песке, ждать прилива. Почему эта упрощенная жизнь не подходила для него, видевшего ужасное зрелище крушения гордых идей, лишенного самых лучших надежд, душевного калеки и калеки телесного, которому ничего не остается, как стушеваться, исчезнуть, признать себя пораженным, оставить место для торжества Захария и ему подобных?

Исчезнуть... Какая сладостная, баюкающая, разливающая по телу благодатную теплоту, привлекательная мысль. Не оставить после себя никаких следов, ни могилы, ни урны, ни свидетелей трупа, ни достоверных знаний, но ничто, забвение, до поры до времени колеблемое разнообразными слухами, невероятными предположениями и догадками. Изведать неограниченные просторы, несказанные времена, быть первым встречным, жить с первыми попавшимися, все видеть впервые, каждое утро просыпаться в неизвестном месте, идти в неизвестность, ничего не ожидая, ничего не теряя, так, чтобы сама смерть, старая, истрепанная смерть показалась неожиданной новизной.

Но Франция ... И когда не раз Филипп был готов после ночи, проведенной в скитаниях по берегам Сены, после бродяжничества вокруг рынков, дождавшись в половине шестого открытия подземной дороги, сесть в поезд, доехать до городских ворот и, перейдя черту, исчезнуть, даль разрывалась и громы падали на него. Призраки и видения его крошечной, затерянной в пространстве земного шара, но еще борющейся с поработителем страны останавливали его, приказывая остаться, бороться, приказывая здесь, на берегах Сены, отстаивать родину. Дни проходили в отчаянии, в раскаянии, в размышлениях, в неоднократных признаниях собственного бессилия, которое вдруг должно было стать силой. Потом опять откуда-то из угла выбиралась обольстительная идея исчезновения, навещала Филиппа всякую ночь, убеждала его, и он снова замышлял бегство.

По мере того, как Монпарнас менялся, кризисы эти делались все более бурными, все более сильным желание дезертировать и потом все более неистовыми раскаяние и бешенство. На что надеялся он, все отрицавший и всех осуждавший? Где мог он искать союзников, когда все вокруг него было гнилье, сволочь и мерзость, когда все были алчными и продажными, лакеями и лизоблюдами, чернью, заслуживавшей одного только презрения? Кто мог оказаться ему полезным среди всех этих корыстолюбцев?

"Они придут, неизвестные, неведомые, непобедимые, придут во множестве, достойные сыны отечества", — говорил всякий раз себе и сволочи Филипп, когда речь заходила о деле. На что Захарий отвечал ему со спокойной усмешкой: "Тридцать лет назад мы слышали эти разговоры на Монмартре, а что вышло из этих неизвестных непобедимых и молодых? Потом то же говорилось на Монпарнасе. А куда мы пришли? Глупости все эти надежды! Спроси Александра, он тебе скажет, что в политике тоже начинают с бунта, а кончают бунтари в министерствах". Филипп раздражался, кричал, что все это неправда, что силы придут, ссылался на историю. Во времена Девственницы тогдашнее общество и двор тоже насквозь прогнили, но однако нашлись силы, нашлись люди, чтобы вытеснить англичан и положить конец войне. На это Захарий отвечал: "Эх ты, наивный! Подхватил никому ненужную мертвую фикцию — Франция — и думаешь делать живое дело. Поэт ты, больше ничего. Поэзией бы занимался, а не политикой. Франция... Умерла она, твоя Франция".

Когда Захарий очень уже припирал его своей несокрушимой логикой, Филипп допускал, что исход борьбы, быть может, и неизвестен, но что борьба все-таки будет, ибо если даже и невозможно победить, биться все же надо, отчаянно и изо всех сил. Минуты упадка быстро проходили, и с ними возвращалась вера в победу. Но когда наступит начало этой борьбы, Филипп не мог сказать даже приблизительно.

И в это утро, глядя на строящийся отель короля Георга, он почувствовал вдруг, что начало это настало и нельзя было придумать лучшего доказательства этому, чем тот нахальный флаг

Соединенных Штатов, который занимал середину золоченой гостиной.

Вид Филиппа, с злыми глазами, взъерошенного, поднявшего костлявые кулаки, был настолько отталкивающим, а быть может и страшным, что все содержимое залы, сперва обернувшееся на крик, шарахнулось к выходу, образовав пустыню вокруг холма, прикрытого флагом. И только у флага осталась стоять одинокая фигура женщины, национальность которой не вызывала никаких сомнений и зависимость между которой и появлением флага не вызывала тоже никаких сомнений. И вдруг его осенила догадка. Вот она, правда, о которой говорила Летиция. Между этой женщиной и несчастьем Александра была какая-то связь. И Филипп бросился к женщине с криком:

— Убийца! Как вы посмели не только придти сюда, не только остаться рядом с ним, но и притащить сюда ваш гнусный флаг! Прочь отсюда или я вас задушу этими вот руками! Или вы думаете, что нашему терпенью нет пределов, что я задумаюсь изорвать ваш флаг в клочья?

Филипп бросился к флагу и, комкая, сдернул его. Перед ним на диване, руки по швам, закрыв глаза и с несомненным лицом покойника вытянулся Александр. Филипп замер, крики оборвались; некоторое время он судорожно мял флаг, а потом выронил его и закрыл руками глаза.

Новость о несчастьи с гражданином Александром разнеслась по Парижу с тем большей скоростью, что в дело была замешана Ева, и что новость эту сопровождало известие о невероятном скандале, разыгравшемся у Летиции и разоблачениях нотариуса Шюзоля.

Какое благодеяние! Такое событие, да еще приправленное скандалом в пятницу Большой недели, в день Драг, когда в программе столько собраний, съездов, завтраков и приемов! Можно с уверенностью сказать, что день будет удачным как никогда, так как жажда посплетничать, разузнать как следует, в чем дело, должна была обуять всех бездельников, в особенности так называемых дам общества.

Уже с девяти часов утра телефонистки давали номера жаждущим обменяться новостями абонентам, и заграницу летели телеграммы. Но, разумеется, настоящее неистовство охватило

корреспондентов американских газет, и не успел разыграться скандал, как на улицу Пьера Шаррона уже прибыла целая их ватага, не столько в надежде установить подлинную картину несчастья, сколько проинтервьюировать мисс Додж и снять ее во всех позах. И если из полуденных газет парижанам суждено было вычитать только то, что гражданин Александр был утром раздавлен почтовой каретой, которой предстояло фигурировать после завтрака в Отейе и что каретой управляла владелица, видная представительница американской колонии мисс Додж, в Нью-Йорке и Копенгагене знали уже о какой-то романтической подкладке, на почве которой произошло самоубийство Александра, и что на убийство американки покушалась сама вдова покойного, самая богатая портниха Парижа.

Но прежде всего о событиях узнали в отеле Мерис, куда Ева попросила телефонировать тотчас по приезде к Летиции, и где клиентура была в курсе всего в половине девятого утра, а одним из первых — Альфонс, испанский король, прибывший в Париж накануне и задержавшийся на один день по дороге в Лондон. Встречавший короля посол, описывая ему предстоящие прелести собрания на скачках, сообщил, что гвоздем, бесспорно, будет почтовая карета кружащей всем в Париже головы американки, которая сама будет править четверкой, и что эта американка проживает в отеле Мерис и приглашена назавтра вечером на прием в испанское посольство, так что король сможет легко ее увидеть и, если пожелает, она будет тотчас ему представлена.

Теперь обер-камергер герцог Миранда изложил королю, как самую важную политическую и светскую одновременно новость, что эта самая американка сделалась героиней убийства, притом не какого-нибудь банального прохожего, но одного из заклятых врагов Его Величества — гражданина Александра. Король приказал камергеру, чтобы тот, снесясь с послом, собрал к полудню самые подробные и точные сведения обо всех событиях и обстоятельствах, так как Альфонс желал быть осведомленным лучше, чем кто бы то ни было, и собирался блеснуть этой осведомленностью на завтраке у президента.

Толстый министр народного просвещения Эдуард Эррио, еще не пришедший в норму со времени прошлогодней постыдной своей капитуляции, неуклюжий поклонник мадам Рекамье и

неудавшийся трибун, испытал настоящее волнение, когда ему, собиравшемуся ехать на улицу Баяр, где в это утро должно было состояться освящение памятной доски, прибитой к дому, где жили и умерли три столпа радикальной республики, трое Ферри, сообщили, что Александр Ру был смертельно ранен проезжавшим экипажем и, доставленный в этом экипаже домой, скончался, не приходя в сознание.

Правда, какая, в сущности, могла быть связь между освящением памятной доски на улице Баяр и смертью гражданина? Манифестация роялистов, которую ожидали и которая была разрешена в дозволенных границах, не могла получить от этого никакого стимула, который мог бы ее заставить неожиданно выйти из берегов. Упоминать об Александре в своей речи Эррио не был обязан, так как смерть Александра пока еще не была официально известна, да и нельзя было установить никакой связи между ним и Ферри. Словом, министру до Александра не было никакого дела, если не считать личных, весьма неглубоких, впрочем, отношений. Однако событие это его беспокоило хотя бы потому, что застало врасплох. А когда новый звонок принес сообщение о роли мисс Додж, беспокойство это получило солидную опору. Мисс Додж? А как же торжественные церемонии в содержимом американцами Версале, которые должны были состояться на-днях и для участия в которых сегодня утром должен был сойти на французский берег Джон Рокфеллер? А как же закладка американского павильона в университетском городке на средства мисс Додж? А множество других на средства американки содержимых музеев и служб? Останется ли мисс Додж во Франции, будет ли поддерживать культурные учреждения? И министр в самом мрачном настроении духа поехал на улицу Баяр.

Несколько иное направление приняло течение мыслей у министра внутренних дел. Разумеется, по долгу службы он потребовал от подчиненных самых точных и полных сведений о случившемся, но занят был мыслью, что если бы подвернулось заседание совета министров, то он, а не министр юстиции (которого он более чем недолюбливал) сделал бы доклад о случившемся, так как ни о каких юридических преследованиях против мисс Додж не может и быть речи. Потом он утешился мыслью, что может осведомить на предстоящей церемонии своих коллег и, положив в карман речь, в которой восхвалял колониальную

деятельность Ферри, всюду пасовавшего перед Англией, поехал в отличном настроении духа на улицу Баяр.

Председатель сената был единственным из собравшихся к 10 часам официальных лиц, который решительно ничего не знал о случившемся. Поэтому министр внутренних дел кинулся к нему с радостью, расписывая на полицейский лад утреннюю историю. Чего только там не было! Но председатель сената отнесся холодно ко всем сенсациям и только спросил министра, не изменит ли смерть Александра позицию социалистов по вопросу об участии в министерстве — вопрос, лишивший министра внутренних дел всякого воодушевления.

Разговор озаботил министра народного просвещения, поспешившего осведомиться у своих коллег, что они думают об отношении правительства к смерти гражданина. Но так как гражданин был лицом неофициальным и слишком спорным, то все тотчас согласились, что правительство не должно никакими внешними действиями реагировать на это событие. При таковом состоянии министерских умов и началась церемония.

Третья республика, чествующая своих героев, — что может быть убийственней этих украшенных тряпками и увянувшими цветами эстрад, на которых с грацией провинциального агента страховых обществ совершенно безголосый господин пытается что-то вычитать из бумажки, время от времени приподнимая увенчанный золотым пенсне нос, чтобы убедиться, какое потрясающее впечатление произвело на восторженную аудиторию чтение про себя перлов министерского красноречия. Мэры, префекты, супрефекты, травоядные радикалы или хищные демократы, переминающиеся с ноги на ногу в ожидании, когда, наконец, сложенная бумажка исчезнет в министерском кармане — движение, сопровождаемое взрывом аплодисментов и облегчения. Теперь можно устремиться к накрытому столу с пирожками, печеньем и вином дурного сорта.

Какое счастье, если местная организация роялистов решает устроить контрманифестацию — это единственная возможность вывести собрание из состояния спячки; усиленный наряд полиции и доносящиеся издали крики "да здравствует король!" заставляют сжиматься трепетные и чувствительные сердца республиканцев.

Чествованию троих Ферри особенно повезло: роялисты стянули все силы, пытаясь сорвать церемонию. Руководитель роялистов Леон Доде недавно был осужден за клевету на шофера Бажо, в такси которого был найден труп якобы кончившего самоубийством 14-летнего сына Доде Филиппа; Доде обвинял Бажо в соучастии в убийстве Филиппа, к которому, на самом деле, была причастна парижская полиция. Роялисты подняли кампанию за освобождение Доде (хотя тот пока не сидел в тюрьме) и увидели в чествовании памяти Ферри превосходный случай, чтобы потрясти основы Третьей республики. Отброшенные роялисты растеклись по соседним улицам и с возгласами "да здравствует Доде!" и "долой правительство!" спешили чем-нибудь вознаградить себя за неудачу. Едва ли не большая часть их направилась вверх по улице короля Франциска и затем решилась на диверсию под окнами умершего Александра. Тут им, ясно, никто помешать не мог, и улица Шаррона задрожала от криков: "да здравствует король! долой Александра! да здравствует Доде!"

Эти крики, а потом и камень, кем-то брошенный и угодивший в стекло золоченой гостиной, заставили Филиппа очнуться и прийти в себя. Что произошло с той минуты, когда он сорвал флаг Соединенных Штатов, он не мог бы сказать в точности. Теперь, когда он огляделся, в комнате никого не было — ни флага, ни американки, один Александр покоился пред ним, такой же зловещий и мертвый. Новый камень. Филипп бросился к окнам. Внизу толпились студенты, закинув вверх головы и потрясая палками. Брань, угрозы, новые камни.

Филипп окончательно растерялся. Количество событий было так велико, и столь были они разнообразны и несогласованны, что Филипп не только ничего не понимал больше, но и не знал, как ему ко всем этим событиям отнестись.

Чего хотят эти люди? Какое бесстыдство вести себя подобным образом перед домом покойника! Ведь они же, якобы, за Францию. А кто был большим ее воплощением, если не Александр? Как же осмелились они, подлецы, негодяи! Нет, слепцы, это вернее. И почему он только что позволил американке исчезнуть с ее флагом и позволяет теперь этим мальчишкам бесчинствовать? Филипп готов был броситься бежать вниз, на улицу.

Но на пороге гостиной он опомнился. Все это неважно. Ведь Александр умер. Не устал, не спит, не ранен, не болен, нет, — Александр умер. Тело, которое там лежит — не он, а только его часть, отсвет, который скоро исчезнет. Видеть этот отсвет, быть рядом, смотреть на Александра — вот что единственно важно. Еще раз посмотреть на странно расположенные волосы, на лоб, на лицо, мирное теперь, успокоившееся, на губы, на которых больше нет ужасной улыбки, на выбритый чисто подбородок. Никто не нарушит их последнего трогательного свидания.

Счастливый Александр! Он освободился от необходимости присутствовать при этой манифестации и не видел надругательства американки. Он ушел потому, что в этой стране нечего больше делать, все соки из нее выжаты, а то, что осталось, разбирается неприхотливой публикой. Ушел потому, что жизнь может быть здесь одним томлением, сознанием невозможности поправить непоправимое и повернуть ход истории. "Не думал ли ты, Александр, хотя никогда не сознавался, что все напрасно, что все пойдет прахом? Что незачем бороться, когда все равно не выиграешь, и сопротивляться, когда не устоишь? Только почему ты ушел один, не подождав меня?"

Вдруг его пронзила новая мысль, новый поворот, и, отскочив от трупа, Филипп закричал: "Александр, ты знаешь как я люблю тебя, но ты не прав был, дезертируя! Ты не смел уходить! Сколь ни успокоительна смерть, мы не имеем права уходить с поля битвы. Надо напрячь усилия, надо действовать! Ты сам отлично знаешь, что я говорю. Ты был таким мудрым, таким всевидящим, ты не мог уйти, ты знал, что нельзя уходить, и ты не ушел, не может быть, чтобы ты умер, ты притворяешься! Довольно, открой глаза, Александр!"

Филипп тряс и теребил покойника, который менял выражение лица, усмехался, тряс головой, но оставался мертвым.

— Что это я, чего я хочу от тебя? — снова опомнился Филипп. — Они тебя убили. Они стерегли тебя, зная, что ты самый опасный для них человек, что пока ты жив — жива Франция. Они подстерегли тебя сегодня утром, вот она, правда, и убили тебя. Они прислали сюда эту женщину, которая удушила тебя постыдным флагом, прислали безответственных мальчишек, разбивших стекла. А потом все бежали, оставили нас одних. Они добились своего, ты им теперь не страшен.

— Прости, Александр. Как я мог осмелиться думать, что ты уклонился? Я устал, измучен, только поэтому мне могла придти в голову нехорошая мысль. Ты боролся до последней минуты и ты отдал свою жизнь потому, что хотел остаться французом.

— Летиция, где Летиция? Вы правы, я отомщу за смерть Александра! Я все понял теперь, начиная с убийства и кончая словами нотариуса. Но я ничего не опасаюсь. Я отомщу. За убийство надо заплатить убийством. Я найду эту янки, которая только что была здесь. Я убью ее, слышишь, Александр, слышите, Летиция, я убью ее, клянусь! Филипп, протягивая руки к Александру, кричал, надсаживался, ища на лице покойника ответа. Ему несколько раз чудилось, что лицо Александра не неподвижно, что губы его двигаются и на них вновь появляется ужасающая улыбка, виденная им вначале.

В своих размышлениях, с чего бы ему начать, Филипп вернулся к мыслям об американке, а потом вспомнил о Стрекотове. Захарий был единственным человеком, который все знал и обо всем мог Филиппа осведомить.

Филипп посмотрел еще раз на лежащего друга, вышел на цыпочках, спустился по безлюдной лестнице и пошел по безлюдной улице.

Он передвигался по улице Пьера Шаррона, не отдавая себе отчета, в какую сторону идет, и улица представлялась ему совершенно пустынной. Филипп не мог бы ничего сказать и о скорости своего передвижения — шел ли он, или бежал, или даже вовсе не двигался, но улица надвигалась на него, он же оставался стоять на месте, поглощенный мыслями, от которых, он знал наверное, не избавится никогда в жизни.

Наконец, перед ним открылись Елисейские Поля, и напротив — необычайное скопление прохожих, точно случилось какое-то несчастье. Филипп пересек Поля в пустоте и окруженный призраками; в нем просыпалась уснувшая было тревога, точно не все совершилось и было выяснено. Толпа стояла по обеим сторонам улицы и можно было услышать, что люди говорят об Александре. Имя это заставило Филиппа окончательно вернуться к действительности, от которой не было отныне никакого избавления, ни внутреннего, ни внешнего, к кровожадной истории, в результате которой Александр умер.

Прислушиваясь к объяснениям окружающих, глядя на фотографов и внимая какому-то господину, который стучал палкой по ограде герцогского особняка, требуя его немедленного уничтожения как общественно опасного, — слушая это, Филипп смог восстановить в подробностях ту правду, которой грозила ему Летиция. Он видел с невероятной ясностью Александра, идущего вдоль скошеного угла и ступающего на мостовую спиной к карете, которая несла ему подлый, предательский удар. Что касается победителя, тут Филиппу давно уже все было ясно. Он знал слишком хорошо эту американку с бессовестными глазами, одну из представительниц шайки злодеев. Но другая сторона дела оставалась невыясненной: почему Александр шел вдоль заплесневевшей и выветрившейся стены. Совпадение души Александра и души отжившей постройки было для Филиппа разоблачением. Филипп был уверен, что это совпадение Александра и смерти не было случайным, что за этим скрывалась какая-то воля, которую необходимо было узнать и которая в раскрытии истории убийства должна было занять первейшее место. Было ли это движение побежденного? Филипп не мог примириться с этой мыслью. При виде этих зеленых, серых, недопустимых не только на Елисейских Полях камней Филиппу становилось ясно, что в его умершем друге жила воля к исчезновению, как проживает она, неистребимая, и в нем самом, время от времени укрощаемая и все-таки каждую минуту готовая вырваться. Александр хотел умереть, иначе он не прошел бы здесь. Но почему?

Только теперь Филипп осознал всю тяжесть взятой им на себя ответственности. Но он ничего не боялся больше. Час назад в нем господствовал страх смерти, теперь этот страх исчез, потому что смерть наступила. Филипп покинул толпу, спустился по Полям до авеню короля Виктора Эммануила, сел в автобус под литерой В и поехал к Стрекотову.

Стоило Филиппу назвать себя, как швейцар заявил: "Господин Стрекотов вас давно ожидают". И действительно, уже целый час, как Захарий звонил во все концы — на Монпарнас, к Летиции, посылал людей на улицу Дюмерля в надежде найти Филиппа. Догадливый нотариус Шюзоль, будучи выкинут от Летиции, немедленно позвонил Захарию, который в его глазах являлся покровителем и умным эксплуататором всяческой рвани,

сообщил ему о происшедшем, раскрыв, разумеется тайну завещания и советуя принять меры, чтобы что-нибудь не случилось.

— Если бы ты знал, как я тебя ищу, — торопился Захарий, беря обе руки оборванца в свои и не давая Филиппу ничего сказать. — Какое счастье, что ты догадался придти сюда сам, это в тысячу раз удобнее, чем назначать свидание на Монпарнасе, который очень уж опротивел и где чересчур шумно, тогда как здесь нам решительно никто не помешает.

Он втолкнул Филиппа в небольшой салон с пышной мебелью и окном, выходящим на площадь. И, немедленно позвонив, отдал по телефону распоряжение: "Меня нет дома для кого бы то ни было".

Стрекотов был любезен как никогда. Смущенный этим и что-то заподозривший, Филипп поспешил оправдаться:

— Я не болен, уверяю тебя, я не болен и не сошел с ума. Я пришел к тебе потому, что мне нужна твоя помощь в чрезвычайно важном для меня деле. Сегодня утром...

— Я все знаю, — перебил его Стрекотов, — и о несчастьи с Александром, и о событиях в доме Летиции.

— Ты все всегда знаешь, — согласился Филипп, — только поэтому я и пришел к тебе. Мне надо узнать, кто эта американка, налетевшая на Александра, узнать теперь, не дожидаясь полуденных газет.

— Почему так спешно? — сухо спросил Захарий, вспомнив о Шюзоле. — И потом, ведь ты мог бы легко узнать и помимо меня.

— Странно, — обиделся Филипп, — ты только что был рад моему приходу, а теперь словно недоволен.

— Я по-прежнему рад, — сказал Захарий, вставая и деланно улыбаясь, — но меня беспокоит твой интерес к этой американке.

— Ах вот что! — взвизгнул Филипп, вскакивая и хватая Стрекотова с силой за отворот пиджака. — Ты повторяешь выжившего из ума нотариуса. Ты боишься, что я ее убью. А если бы даже и так? Если бы я и хотел это сделать, то разве ты мог бы мне помешать, не сообщив имени этой женщины, которое через час будет известно всему Парижу? И потом, почему вы решили, что я хочу убить ее? Летиция науськивала меня, это верно, но я не дал вам никаких поводов заподозрить меня. Я слишком

самостоятелен, чтоб действовать по чьим бы то ни было указаниям. Если ты не хочешь сказать, это неважно. Есть другая причина, более важная...

Захарий осторожно высвободился, сел, якобы успокоенный, и выговорил:

— Я слушаю.

— Мне нужны деньги, Захарий. Дай мне денег!

Едва ли Филипп мог удивить русского чем-либо сильнее, чем этой просьбой. И Захарий мог только переспросить:

— Тебе, Филипп, нужны деньги?

— Мне нужно много денег, Захарий, очень много.

— Сколько именно?

— Чтобы жить независимой жизнью и работать для дела.

— Прекрасно, мы можем это уладить. Но ты мне их вернешь.

— Захарий, ты знаешь, что у меня ничего нет.

— Филипп, — произнес Стрекотов с напускной торжественностью, — ради этого я и искал тебя. Ты знаешь, что Александр был богат.

— Я никогда не думал об этом.

— Его отец оставил ему огромное состояние, оставшееся нетронутым, так как Александр жил по-нищенски. Летиция сочла нужным еще более обогатить его, подарив ему несколько замков и приставив к нему опытных дельцов, которые его состояние удвоили. Ты не знаешь, быть может, что партия отчасти существовала на его деньги.

— И что же?

— Так вот, Александр оставил после себя завещание, — глаза русского вспыхнули хищным огнем, — которое делает тебя его единственным наследником. Понимаешь, ты неизмеримо богат, много богаче меня, Филипп.

Филипп был слишком трезв в эту минуту, чтобы ему могло показаться, что он ослышался. Но новость не вызвала у него никакой радости, кроме той, что у него есть нужные ему деньги, радости, которую он уже испытал, услышав от Захария, что тот готов их ему дать. Он подумал еще с минуту:

— Ты не знаешь, завещание это было составлено задолго до смерти?

— Не знаю, тебе сообщит нотариус. Но почему ты не радуешься? Ведь у тебя есть свои деньги, нужные для твоего дела.

И только после этих слов Захария до Филиппа дошло, что с деньгами, оставленными Александром, можно наделать великое множество дел, что устранен существенный недостаток его положения. Но Филипп был настолько уже уверен, что все образуется, что новость не ошеломляла его. Напротив, факт завещания его беспокоил, заставив вспомнить о скошеном угле ограды.

— Только не делай глупостей, — заметил Захарий. — Шюзоль, разумеется, преувеличивает, обвиняя Летицию в материальных побуждениях, но тебе следует знать, что если ты совершишь преступление раньше вступления завещания в законную силу, то ничего не получишь и все перейдет к Летиции. А кстати, для какого дела тебе нужны деньги?

Филипп начал было думать о том, как совместить желание отомстить американке и статьи закона. Но вопрос Захария подстегнул его.

— Будто ты не знаешь, что я только и живу идеей борьбы за освобождение Франции от ига Штатов. Надо запретить им доступ сюда, освободить страну от их капиталов и экономического засилья, запретить им вывозить что-либо отсюда, не платить долги, разорвать с ними сношения, запретить американизацию — джазы, коктейли, фильмы и прочее. Надо объявить войну Штатам.

— Слушай, Филипп, — перебил его Захарий, хватая Филиппа за плечи и насильно усаживая в кресло, — я достаточно уже наслушался твоих бредней, чтобы выслушивать их в сотый раз. Путь фантастического восстания и Варфоломеевской ночи — все это глупости; культурное засилье Штатов — результат их финансовой мощи, и чтобы эту мощь преодолеть, надо действовать иначе. Надо создавать, работать, действовать, но не так, как предполагаешь ты. Не платить долгов — разумеется, но надо сперва обеспечить страну от финансового разорения, которое они способны устроить. У них же в голове вздор, нечто вроде американского индивидуализма, смешанного со всякой всячиной. Брось валять дурака. Прежде это была монпарнасская болтовня и ты был нищ, но теперь тебе пора бросить шовинизм и лохмотья, пора выйти в люди.

— Ты неправ, в тысячный раз неправ, Захарий. Александр оставил мне деньги на борьбу, да, на борьбу, и я буду бороться. Все эти разумные рассуждения — чепуха. У вас в России вели себя иначе. И мы будем вести себя иначе. А деньги на борьбу всегда найдутся. Но я ухожу, я не хочу больше слушать тебя.

— Успокойся, Филипп, — закричал Захарий, останавливая его. Голоса и потом шум за дверью заставили друзей обернуться. Точно кто-то боролся, пробивая себе путь к двери салона, и прежде, чем Стрекотов мог достичь двери, она раскрылась и в комнату ворвалась, преследуемая коридорными, Ева Додж.

Летиция пришла в себя в самом полном одиночестве. Она попробовала повернуть голову, но почувствовала боль в шее. "Разве камни чувствуют боль?" — спросила она себя. И медленно двинулась, словно вращаясь вокруг оси, проходящей через ее сердце. Ей хотелось двигаться быстрей, чтобы открыть в какомнибудь из углов гостиной что-нибудь и удостовериться, что она не одна. Но когда с величайшими усилиями и невероятно медленно Летиция осмотрела половину комнаты, она остановилась, не желая больше двигаться, зная наперед, что никого в комнате нет, что она совершенно одна, совершенно и навсегда.

Если бы в этой комнате было хоть что-нибудь, привлекающее взгляд, ласковое, какая-нибудь подробность, говорящая сердцу, какой-либо каприз и недостаток, неожиданный или нарочитый контраст. Яркое пятно, словом, что-нибудь. Но в комнате решительно ничего не было. Ровные и гладкие обои, ровная и гладкая мебель, такие же стены, потолок, зеркала, ровное серое парижское небо. Впервые с сожалением подумала Летиция о своем вкусе, о своей любви к чистому листу бумаги, к холсту, на котором ничего не написано, к жизни, полной возможностей и чуждой достижений, о своей любви к Александру. Если бы в этой жизни можно было за что-нибудь уцепиться, что-либо вспомнить. Летиция провела рукой по лбу, зажмурила глаза, постояла минуту с закрытыми глазами. Вспоминать было решительно нечего.

Ах, если бы их брак был самым обыкновенным пошлым браком! Летиция даже не могла сказать, она ли сделала этот брак браком духовным. Был ли повинен в этом Александр. Од-

но было совершенно несомненным: этот тянувшийся годы союз был союзом духовным, родством идейным, из которого, казалось Летиции, должны были выйти вещи и дела замечательные, и вероятно, так оно и было. Но сейчас Летиция не видела ничего ни значительного, ни важного. Ей хотелось мелочей, подробностей, оттенков, хотелось человеческого, и этот духовный союз представлялся ей сейчас мертвой выдумкой, сухим продуктом скучающего мозга.

Битва была проиграна, и бесповоротно. Ни о каком продолжении борьбы нечего было и думать. Голова была тяжелой и отупевшей. Летиция отступила несколько шагов и опустилась в кресло. Она сидела, открыв глаза, но ничего не видела, ничего не слышала. Даже запах духов, внезапно наполнивший комнату, пронзительный и знакомый, не потревожил ее сознания, стоящего на пороге смерти. Даже когда на ее плечо опустилась одетая в кожаную перчатку увесистая женская рука и стала тормошить ее, Летиция ничего не почувствовала, так и продолжала сидеть, точно кукла.

Сара, давнишняя подруга Летиции, не могла оценить по-настоящему постигшее Летицию несчастье, почему ей и казалось, что это обморок, не более, вызванный последними неприятностями, и коль скоро потрясения забудутся, вернется прежняя великолепная, обильная жизнь. Если бы Сара хоть в какой-нибудь мере знала, какое преображение совершилось в Летиции, сколь Летиция теперешняя далека от Летиции прежней, не имеет с ней ничего общего кроме этого вот увядающего тела!

Присутствие Сары, пошлейшей блондинки, превосходно одетой и отлично обутой, до последней степени современной и во всех отношениях передовой, свежего листка новостей и сплетен, наличие светской женщины 1927 года рядом с конченой Летицией было явлением великолепным, достойным внимания. Светская женщина не могла никогда и ни в каком случае признать, что Летиции больше нет, что Летиция кончена, что перед нею новое, уже окончательно на этот раз недосягаемое существо. Вот почему Сара, видя, что Летиция приходит в себя, чувствовала себя победительницей, готовой к продолжению суеты, как будто решительно ничего и не случилось.

Саре показалось также, что Летиция, выслушав ее речь (не следует предаваться унынию, что случилось, то случилось, а в

лесу их ждут, нельзя пропускать знаменательного соревнования, уже поздно, надо торопиться), с нею согласилась, приняв из рук Сары шляпу и перчатки, но на деле, даже сидя в автомобиле рядом с Сарой и поднимаясь к Площади Звезды, Летиция не знала не только, где она находится, но даже не ощущала, что движется. Ибо возможность движения и перемены для Летиции больше не существовала. Очаровательная Сара продолжала болтать без умолку, изложила тысячи обстоятельств множества дел, рассказала о всех важнейших событиях вечера, ночи и утра и перестала тараторить только когда они достигли аллеи акаций Булонского леса.

Аллея акаций в эту эпоху уже окончательно заняла в парижском быту положение, которое занимали некогда бульвары. Поэтому теперь там, и ни в каком ином месте, совершались события первостепенной важности, намечались вкусы, течения, моды, люди становились чем-нибудь из ничего и ничтожествами после недолгого успеха. Модные дома еще продолжали посылать модели на скачки, улица Мира еще сохраняла свою репутацию, но все это было традицией, не имевшей никакого значения. Настоящим театром борьбы и соревнования, тщеславия и мишуры была аллея акаций и только эта аллея. Пустые, никчемные, никуда не ведущие соревнования — сколько раз Александр, сидя за одним из столов, поставленных вдоль аллеи, должен был, не будучи судьей официальным (этого ему не позволяло положение в рабочей партии), высказывать свое чрезвычайно веское мнение по поводу упряжки или шляпы, костюма или походки, оценивать и сравнивать различные проявления мишуры, судить с тоской в сердце и с готовностью на лице, страдая от сознания, на что тратит свое время и мысли руководитель рабочей партии.

И сегодня пересуды и разговоры шли обычным своим порядком, когда аллею наполнили совершенно особые звуки, а потом появилась белоснежная машина, в которой, откинувшись на подушки и ни на кого не глядя, сидела Летиция. Всех поразило это зрелище не потому, что Летиция явилась в лес несмотря на несчастие с Александром (этой выходке можно было и не придать особого значения, так как Летицию знали на все способной), но потому, что вид Летиции говорил о том, как восприняла она это несчастие, и противоречие между этим видом и решением явиться в лес показалось недопустимым.

Лицо Летиции было бледным, бескровным, совершенно неживым. Глаза — абсолютно стеклянные, глядящие прямо перед собой. И поза настолько прямая, что ни в каком случае не могла быть признанной за естественную. Как только присутствующие заметили все это — и мертвенность лица, и неестественность позы, наступило неловкое молчание. Сара по соседству с Летицией, взиравшая с некоторым не то недоумением, не то издевательством на общее замешательство, раскрасневшаяся, кивающая направо и налево, протягивая вперед, словно для поцелуев, пухлые ручки, с которых были сняты перчатки, Сара по соседству с Летицией была тоже настолько неестественна, что уже никто не мог поверить в искренность Летиции, и так как предположение, что Летиция притворяется страдающей из-за смерти мужа было слишком чудовищным, то зародилась мысль, что Летиция ломает комедию, которая становится трагичной только по случайному совпадению со смертью Александра, о которой Летиция еще ничего не знает. Стоило этой мысли проскользнуть среди опешивших созерцателей, как Летиция повернула голову, и ее отсутствующий взгляд упал на судей, словно ища кого-то среди них.

Вереница автомобилей движется крайне медленно, чтобы дать возможность судьям осмотреть их внимательно и оценить все подробности. Машина Летиции поравнялась с судейским столом и, продолжая путь, готова была уступить место следующей. Но в тот самый момент, когда судьи с облегчением готовы были перевести взгляд с Летиции, она взмахнула рукой, сделав движение, которое делают, когда желают коснуться предмета в темноте и его не достают и не видят; шофер, заметив ее жест, остановил машину как раз перед судейским столом.

Была ли Летиция красивой — вопрос, который задавался бесчисленное количество раз в течение ее карьеры и на который никто даже из самых восторженных ее поклонников не ответил утвердительно. Но в ее позе, в ее умении держаться было нечто совершенно неотразимое, а напряженный взгляд небольших темных, но таких выразительних глаз, что приличествовало их иметь какому-либо фанатику или пророку, а не портнихе, только подчеркивал исключительность ее существа.

Психологу, который поставил бы себе целью изучение того феномена, который называется "влиянием", необходимо было

бы знать Летицию, так как она была таким же воплощением влияния, как можно быть воплощением красоты, ума или глупости. Были ли замечательны ее вкусы, изумительны ее творения? Нет, среди ее соперников и соперниц на парижском рынке было немало превосходивших ее и вкусом и качеством. Но Летиция влияла на все вкусы, на моду, на воззрения, на промышленность, за ней следовали, ей подражали, она казалась безусловным совершенством даже тем, кто знал, что это не так.

Поэтому когда белоснежная машина остановилась перед судейским столом, и Летиция встала с протянутыми руками, все замерли и затихли, пораженные на этот раз глазами Летиции, которые все увидели впервые. Таковых глаз за ней не знавали. Сегодня они были не темными, а светлыми, почти светло-серыми или светло-зелеными, еще более твердыми, жесткими до такой степени, точно это были глаза искусственные. И так как глаза эти смотрели не на судей, а поверх их голов, то сходство глаз Летиции с искусственными увеличивалось еще больше, до такой степени, что в голову могло забраться нелепейшее предположение, что, может быть, у Летиции, и в самом деле, стеклянные глаза. И неизвестно сколько времени продолжалось бы это разглядывание Летициных глаз, если бы все, наконец, не заметили, что глаза Летиции вовсе не были неподвижными, но еле заметно дрожали.

Летиция знала, что Александр должен был сегодня находиться в Булонском лесу, в аллее акаций, и с того момента, когда Сара усадила ее в машину, она считала секунды в ожидании встречи с Александром. Но одновременно воспаленный мозг ее был занят борьбой с бессильной памятью, которая тщетно пыталась открыть в прошлом то, что, несомненно, произошло и что, несомненно, было ужасным. Странно, она помнила обо всем, что было вчера, позавчера и еще далее, помнила все то, что надо и можно было по обыкновению помнить, но совершенно не могла уловить даже характера, не говоря о содержании событий, повергших ее в бездну. Только встреча с Александром могла спасти Летицию и вернуть ее к жизни. Летиция прислушивалась к автомобильным рожкам, точно в них содержалась какая-то частица ответа на ее терзания, а потом к шуршанию листьев в аллее. Летиция до сих пор не знала, что звукам присущ и цвет и форма; теперь она видела их цветными и линей-

ными. И по мере того, как звуки усиливались и менялись, в глазах Летиции рождались все новые и новые узоры неизвестного ей доселе биоскопа, то яркие, почти ослепительные и кратковременные, то придушенные, бледные и устойчивые. Узоры эти состояли из одинаковых треугольников, расположенных вокруг центра, образуя квадрат, восьмиугольник или фигуры со значительно большим количеством углов. И в центре этих фигур неизменно пребывал ее муж Александр, которого она видела издали сидящим за столом во втором ряду, за спиной герцога де Бриссака; герцог, откинувшись на спинку садового кресла, прислушивался к замечания Александра. Александр сидел на краю стула, опершись руками на яблоко неизменной своей палки и говорил громким шепотом, не отрывая взгляда от проезжающих, не меняя позы и не поворачивая головы.

Но к ее удивлению в зрелище судейского стола, в позах сидящих за ним друзей и знакомых, в облике окруженного ими Александра было что-то необыкновенное. Все они, и даже ее муж, точно не заметили появления Летиции, словно ее и не существовало. Тотчас чувство обиды охватило ее. Но не успело это чувство возникнуть, как вновь нахлынула тревога, а потом и страх, и смели без остатка и стол, и друзей, а Александр ей показался тонущим в этом беспощадном приливе. Что это, где была Летиция? В Булонском лесу или нет? В аллее акаций или нет? На состязании или нет? Летиция повернула голову, чтобы осмотреться. Но куда ни падал ее взгляд, она видела все те же узоры, все тот же бушующий страх. Она посмотрела в сторону шофера — шофера не было , взглянула на свои руки — рук не было, подняла глаза к небу — неба не было. И вдруг она поняла, что ослепла.

Однако не эта неожиданная догадка прикончила ее. Летиция почувствовала, что этот ужасный акт сам по себе есть только тень чего-то еще более ужасного, связанного с Александром, что Александра так же нет, как нет ни толпы, ни деревьев, ни неба. Кричать, звать, надеяться было бесполезно. Александр ушел из ее существования, уведя с собой все, что можно было увести и оставив ее наедине с бесконечной пустотой. К чему протягивать руки, когда все равно ничего никогда они не достанут. Летиция закачалась, упала грудью на борт автомобиля, безжизненно по-

висла, перекинувшись через него, и чахлое солнце заиграло в изумрудах, украшавших ее пятнистые пальцы.

(*окончание следует*)

A. Neimanis • Buchvertrieb GmbH

Bauerstr. 28 • D-8000 München 40 • Germany

НОВЫЕ КНИГИ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Собрание сочинений в 6 томах.

Том 4-й: Стихи, не включенные в сборники. Статьи о литературе исследовательского и критического характера: о Гете, Шиллере, Новалисе, Байроне, Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, Л. Толстом, А. Белом. И другие материалы.

Тома 1-3 — в продаже. См. наш большой каталог 85/86.
Тома 5 и 6 — готовятся к печати.

Бельгия, 1987. 4-й том — 800 стр. $68.-

Пересылка бесплатно

Требуйте бесплатно наш сводный большой каталог 1985/86 и бюллетени №№ 20,21,22,23,24,25,26 и 27 (апрель 1988).